

«ЖИЗНЬ ОТ СМЕРТИ ОТСТОЯТЬ...»

В. М. Акаткин

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 5 ноября 2017 г.

**Аннотация:** в статье рассматриваются произведения А. Т. Твардовского о войне, Финской и Великой Отечественной, выявляются особенности этих войн, пути и способы их воплощения, последовательная гуманистическая, жизнеспасающая позиция автора.

**Ключевые слова:** война, жизнь, смерть, солдат, бой, наступление, враг, возмездие, Победа, судный час, мир, созидание, разрушение, память, творческая свобода, гуманизм.

**Abstract:** the article discusses the works of A. T. Tvardovsky about the war, the Finnish and the Great Patriotic War, the peculiarities of these wars, the ways and means of their implementation, the consistent humanistic, and lifesaving position of the author.

**Keywords:** war, life, death, soldier, fight, attack, enemy, Nemesis, Victory, judgment hour, the world, creation, destruction, memory, creative freedom, humanism.

На рубеже тридцатых-сороковых годов А. Т. Твардовский участвовал в двух, как их называли, «освободительных» походах в качестве военного корреспондента газет «Часовой Родины» и «На страже Родины». Первый поход не оставил заметных следов в его творчестве, зато из второго он вышел потрясенным и обновленным. На финской войне, кроме обязательной газетной работы, он вел дневник и только тридцать лет спустя опубликовал книгу записей «С Карельского перешейка». В силу особой важности этих записей для последующего творчества, о них следует сказать подробнее. Там, в снегах Финляндии, в огне и грохоте упорной кровопролитной войны, прошли испытание его жизненные и писательские установки, завязались сюжетные и образные ростки последующих замыслов.

Прочитав еще до выхода из печати «С Карельского перешейка», К. Симонов удивленно заметил: «Однако ты и тогда уж был гуманистом...» [1, 319]. То есть еще в 30-е, когда «само понятие “гуманизм” зачастую ставилось под сомнение, объявлялось ложным, враждебным, буржуазным» [2, 179]. Удивление Симонова станет понятнее на фоне воинственности молодых поэтов предвоенного поколения, которые, по словам Д. Самойлова, «в сорок первом шли в солдаты, И в гуманисты — в сорок пятом». Приведя эти слова, Н. Коржавин замечает: «В сорок первом эти ребята не были гуманистами даже по отношению к самим себе» [3, 171]. В середине 30-х кризис гуманизма ощущался грозившей бедой. «Сейчас, — бил тревогу А. Платонов, — есть смертная нужда, чтобы в мире появилась поэтическая, вдохновляющая, оживляющая сила, равноценная Пушкину и даже превосхо-

дящая его, потому что слишком велико всемирное бедствие» [4, 44]. Платонов верит: новый Пушкин появится, «Пушкин социализма, Пушкин всемирного света и пространства», быть может, он уже находится среди этой жизни, новый «таинственный певец», который не обманет его доверия [4, 60]. Записи Твардовского, как и завязавшаяся в них народная эпопея «Василий Теркин», дышат спасительным человеколюбием, «всемирной отзывчивостью» и гуманностью, до которых могла подняться литература. При этом финская война показана в записях с непривычной обнаженностью, порой так натуралистично, что многие отведут глаза.

«Незнаменитая» эта война, как назвал ее Твардовский позднее, поглотила в снегах и болотах сотни тысяч людей, а кто остался в живых, никогда не забудет ледяных переправ и гибельных атак (о них будет вспоминать и Теркин, воевавший на Карельском фронте). «Все было другое, чем думали там, когда стояли у границы» [5, 166], — записывает Твардовский, побывав на передовой: «страшная сила огня», «грохот канонады», «жуткая ночь», «тяжелое состояние подавленности», «ощущение великой трудности войны», «поляна смерти», застывшие, перееханные, раздавленные трупы... Названная локальной, финская война была все же войной середины XX века, частью второй мировой. Твардовского всего развернуло к этому событию и его участникам, он весь сосредоточился на невиданном поединке в поисках противовесов смерти и разрушению.

На финской войне, как и на рубежах «великого перелома», Твардовский прошел короткую, но жестокую проверку на физическую и творческую выживаемость. Набирая силы для работы над «Книгой про бойца», он вырастал в поэта национального масшта-

ба, а его лубочный Вася — в народного героя Василия Теркина. Для него было очевидно: главные события перемещаются с колхозных полей на поля сражений, народ передевается в защитную форму. «Люди, с которыми за эти месяцы довелось встретиться, и все, что привелось увидеть, сделали из меня почти совсем другого человека» [5, 339], — пишет он Исаковскому. Кажется, Ю. Буртин недооценил этого важного признания: «Как ни сильны были впечатления от боев на Карельском перешейке, переворота в душе поэта они все же не совершили. Его совершила Великая Отечественная война» [7, 388]. Однако сам Твардовский думает иначе: «Мне-то они дороги, эти записи, потому что за ними поворотный в моей жизни период (зарождение замысла “Теркина”)...» [1, 258]. Не только «зарождение замысла»: на материале финской войны написано семь глав «Василия Теркина», включая «Гармонь». С финских записей берет начало тема памяти, которая становится у Твардовского главным условием сохранения ментальной целостности человека, национальной истории и культуры. На финской войне Твардовского потрясло, как быстро забывают об отдельном человеке: «Убит — и всё» [5, 167], как входит в обычай беспамятство. Вопреки этому он насыщает свои записи всевозможными подробностями боев и быта: смотри, думай, запоминай. Факты множатся, давят, жгут, но их осмысление идет где-то в глубине сознания, на бессловесном уровне. По интонациям и деталям видно, как проникающе становится его мышление и разнообразнее приемы поэтики. Максимально сокращается дистанция между автором и героем: война наклонила поэта к человеку, дала им право обмениваться голосами: «Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого красноармейца» [5, 155]. Он хочет быть рядом с ним, в окопе, в атакующей цепи, ибо со стороны, в бинокль мало что увидишь и душу солдатскую не познаешь и не выразишь. В память о его жертвенном подвиге возникает замысел «Книги про бойца»: «Кончится кампания, отдышусь от писания “в номер”, засяду основательно. Строчка за строчкой пропущу все через сито... Буду жив и здоров — будет книжка, какой я сам раньше вообразить не мог» [5, 158].

Чтобы создать произведение, способное ответить на вызовы антигуманной эпохи, требовалась творческая активность, свобода мысли, независимость оценок происходящего, живое неподкупное слово. От войны, говорил Твардовский, «сознание постарело». А это значило, что оно стало приходить в соответствие с реальностью, повернулось от должного, заданного к существу. Поразительные слова находимы в письме к жене как раз перед публикацией первых глав «Василия Теркина» в «Красноармейской правде»: «Мне ничего теперь не нужно, кроме моих близких, моих трудов и свободных размышлений. Эту-то свободу я приобрел за этот год (год войны. — В. А.). Слава богу, хоть износил кожу предрассудков

с юности запуганного догмами и всяческой современной поповщиной человека. Верю одной правдивой истине, больше ничему» [8, 142]. С чувством этого освобождения он весь сосредоточился на войне, на ее видимой и не видимой работе, на всем, что она делала с человеком, народом, природой, с Домом и Родиной, большой и малой.

Война — жесточе нету слова.

Война — печальней нету слова.

Война — святее нету слова

В тоске и славе этих лет.

И на устах у нас иного

Еще не может быть и нет [9, 143].

Только такая всепоглощенность, только такая целеустремленность могла привести к творческой победе...

«Василий Теркин», по признанию многих фронтовиков, в том числе знаменитых полководцев, — один из самых действенных сподвижников Победы. «Трудно даже оценить, — говорил Г. К. Жуков, — какую огромную роль сыграл “Василий Теркин” во время войны» [10]. Поэт долго, как и вся страна, собирался с силами, искал самые необходимые, самые горячие слова, чтобы поддержать, душевно укрепить солдата и победить вместе с ним в самой страшной для России войне. Он и сам понимал высокое предназначение своего труда и своего детища: недаром называл свою работу подвигом.

Годы войны, несомненно, самый значительный период в творческой судьбе Твардовского, самый плодотворный, отмеченный высшими взлетами его таланта. Но самое удивительное в том, что, будучи мобилизованным певцом в стане советских воинов, работая в должности военного писателя и в звании подполковника в печатном органе фронта, он последовательно противостоял войне и прямо, и в подтексте своих произведений. Воспевая «всемирный подвиг народа, предсказанный ему историей», Твардовский видел предназначение этого подвига в том, чтобы «жизнь от смерти отстоять», чтобы защитить человека, «живого и теплого», от мрачных сил истребления и разрушения, оградить его от горя и сиротства.

В «Книгу про бойца», словно вешние воды с гор в большую реку, стекались речевые обороты, интонации, детали из стихотворений и поэм 20—30-х годов. Теркин проглядывает и там, где его еще нет, но слышится его речь, где видятся его повадки и жесты: «От скуки на все руки», «Молодой, веселый, важный За рулем шофер сидит», «Кидает пальцы сверху вниз с небрежностью лихой», «Разрешите, если можно, напоить у вас коня», «Потным телом греет землю», «Не гордый человек», «Ради радостного дня», «Течет река, чуть шевеля осокой», «Под мостом курлычет речка», «Огнища наши от костров позаросли едва ли» и др. Эти золотые крупинки с новой силой просятся в «Теркине», они приведут за собой героя ред-

ких душевных качеств и ободряющих слов. Теркин нарисовался из мозаики предвоенных героев как совокупный их портрет. «Не эта война... породила этих героев, — писал Твардовский, — а то большее, что было до войны. Революция, коллективизация, весь строй жизни. А война обнаруживала, выдавала в ярком виде на свет эти качества людей. Правда, и она что-то делала» [11, 110].

Не случайно в «Книге про бойца» оживают приемы обрисовки Никиты Моргунок в «Стране Муравии».

Был Моргунок не так умен,  
Не так хитер и смел [12, 241].

Не уступит ему в «обыкновенности» и Теркин:  
Не высок, не то чтоб мал,  
Но герой-героем [9, 166].

Убегая от колхоза и от семьи, «поет Никита о своем и плачет о своем» [12, 239]. Потеряв дом и семью, безуспешно плачет солдат-сирота, земляк Теркина. Председатель колхоза Фролов, агитируя «за нашу власть и жизнь», называет свою речь «проповедью». Теркин, драпая от немцев, призывает «не унывай», считая это «политбеседой», то есть той же проповедью. Драка Теркина в главе «Поединок» сильно напоминает драку Фролова с выводком клана Фроловых. При этом он, как и Фролов, сетует на «не те харчи». Перешла из «Страны Муравии» во фронтовую поэму и такая знаменательная деталь: «Теплым телом греет землю» (Моргунок) — «Греют землю животом» (бойцы). Не греются сами от земли, а согревают ее своими телами. И еще одно сакральное действие, сближающее эти поэмы и героев: угощение Никиты у свояка и Фролова и Теркина у деда и бабы (глава «Два солдата»). При этом задаются судьбоносные вопросы и не сразу даются на них ответы: «На сколько лет такая жизнь затеяна?» и «Побьём мы немца или, может, не побьём?»

Конечно, Твардовский всегда, даже во время боя, находил контрапункты войне, умел ходить «стёжкой иной», мирной: почуять запахи трав и пашни, услышать майского жука, увидеть каплю прозрачной смолы, стекающей по теплому стволу сосны, порадоваться всякому растению и цветению, вспомнить о доме, о жене, о подростке ребенке. Трудно сказать, чего больше в его стихотворениях и поэмах о войне — мира или войны. Он, кажется, умиротворяет, одомашнивает саму войну, закрашивает ее простыми благами мирной жизни. Не воюющим, а «на войне живущим людям» посвящает он свою поэму. Теркин — примерный воин, храбрый солдат, но за всю войну он не убивает ни одного немца. И это не отступление от правды, не уступка пресловутому пацифизму, а нежелание демонстрировать кровавые дела героя, как это делали немцы при каждом удобном случае. В Рабочих тетрадях есть записи, которые могли бы принадлежать маршалу Жукову, а не поэту Твардовскому: «Ничего умнее и справедливее того, что немцев нужно добить, не считаясь ни с чем,

не давая никакого послабления, ужас их положения доводя до самых крайних крайностей, — ничего нет. Это меньшее страдание на земле, чем то, которое было и было бы при наличии неразгромленной Германии...» [13, 347].

В годы Великой Отечественной Твардовский сражается своим словом на два фронта: с врагом и с войной как с пагубой жизни, во-первых, и за свободу творчества, за свою «Книгу про бойца» — во-вторых. Дневниковая книга «Я в свою ходил атаку...» (2005 г.) — о том и о другом, но больше о втором его фронте, победа на котором принесла ему всенародную славу. Победа творца, художника дала ему право почувствовать свою причастность к Великой Победе народа над силами, несущими зло и смерть. А вторым крылом, позволившим ему подняться над черной пропастью войны, было чувство долга и любви к народу-солдату: «Я чувствую себя в силах сделать нечто очень нужное людям, которых люблю так, что при мысли о них сердце сжимается». От этого охватывало «такое ощущение честного счастья, как если бы я совершил подвиг или готовился к нему» [13, 133—134].

В послевоенные годы, болезненно пережив открявшиеся язвы недавней истории, Твардовский неожиданно для многих, но в духе всего написанного им о войне, крайне негативно характеризует полководческое рвение Г. Жукова, книга мемуаров которого — «вся в крови»: «Народ для него — “картошка”, как говорит солдат в “Климе Самгине”. Он воюет именно числом, постоянно требуя пополнений, не считая людских жизней, не удрученный нимало их гибелью и страданиями. Он, как и вообще Верховное командование, тушит пожар войны дровами ее — людьми: загрузить так, чтобы трудно было пробиться пламени. Как мне памятно по первым (и не первым) дням и неделям войны всеобщий панический пафос жертвенности (“пасть за родину”), запретность и недопустимость мысли о сохранении жизни своих. Отсюда и требование самоубийства во избежание плена» [14, 159]. Генерал в одноименной главе «Василия Теркина», как мы помним, посылал людей в бой на смерть, сразу прощаясь с ними. Причем не видя их, а только рисуя стрелки наступления на штабной карте.

В поэзии Твардовского презрение к смерти не означало готовности тотчас погибнуть, а было стремлением победить смерть ради жизни. Даже погибая, человек оставался у него «живым и теплым», а письма от погибших, словно от живых, шли и шли домой. Жизнь для него — самая высшая ценность, он постоянно напоминает об этом солдату-окопнику. Во второй части поэмы «Василий Теркин» он заявляет о том, что хотел бы идти мирной стезей, а не тропой войны, что ему «сказка мирная милей», чем фронтовая. Сказка одновременно и о будущем, и о прошлом.

О судьбе, что в гору шла,  
О той жизни, что была,  
За которую сегодня  
Жизнь отдай, — хоть как мила [15].

Сама война порой становится у него горьким напоминанием о жизни, как это ни парадоксально звучит. В августе 1944 г. (любимая его пора) Твардовский записывает в Рабочую тетрадь: «Кажется, вообще не осталось ни одного ощущения, запаха, чтоб это уже не связывалось с войной. И, наверно, всю жизнь будет напоминать она всем, что есть самого дорогого в природе» [13, 284]. С особой силой зазвучали эти мотивы во второй половине войны, когда воочию увиделось, как исстрадалась, как постарела от нее сама природа: «Большое лето», «В Смоленске», «Ветром, что ли, подуло...», «Здесь немцы были», «Минское шоссе», «В литовской усадьбе», «В поле, ручьями изрытом...» и др. Она, русская природа, действует на человека с такой пронзительной, чарующей силой, что кажется, «как будто войны никакой», что «нет ни этих немцев на свете, ни расстояний, ни лет». Но эта сила не расслабляет, не мешает храбро воевать. А фронтовой быт стал приедаться, «человек как бы говорит: хватит, дайте мне просто небо, без самолетов, дайте мне просто шутку, без смерти, стоящей за ней» [13, 252].

Когда воочию увидели следы страшных злодеяний фашистов на оккупированных территориях, в самых грозных интонациях зазвучали в газете призывы о возмездии. Священник Д. Азаренко, обращаясь к солдатам, офицерам и генералам Красной Армии, писал: «Неустрасимо идите вперед. Дело наше правое и святое. Добейте фашистскую гадину» [16]. Журналист И. Арамилев в статье «У могил расстрелянных» (в роще у поселка Легеново близ станции Понари было расстреляно 200 000 советских людей) невольно продемонстрировал, как одно зло порождает другое: «Русские люди добры и мягкосердечны. Но всему есть предел. В борьбе с немцем доброта — зло. Пусть каждый из нас, бойцов и офицеров, считает потерянным тот день, когда он не убил немца. Забудем все иные чувства, кроме ненависти к немцу. Подавим в груди все желания, кроме одного — убивать немца» [17]. Такое можно понять. И это не нуждается ни в осуждении, ни в оправдании. Однако Твардовский каждой своей строкой пробуждал в русском солдате «чувства добрые», готовил его к возвращению домой, к заботам и радостям мирной жизни.

На войне, писал Л. Толстой в «Севастопольских рассказах», «мысль очень обыкновенная — мысль о смерти». Картинами гибели, ее угрозами, ее предчувствиями, мыслями о смерти отмечены все страницы «Книги про бойца». Смерть разбойничает на всех дорогах и переправах, на полях сражений, на огромных пространствах России и Европы. В конце концов она становится синонимом войны, доминантой происходящего. Смерть здесь — «дело привычное», к ней относятся без паники и дрожи, о ней

говорят с грубоватой шутливостью, как принято в речевом солдатском обиходе: «Вдруг как сослепу задавит, — Ведь не видит ни черта», «Может в голову ударить, Или попросту, в башку», «Бомба — дура. Попадет Сдуру прямо в точку», «Потерять башку — обидно, Только что ж, на то война», «Но отнюдь не заколдован От осколка-дурака». «И хотя бы плюнь ей в морду, Если все пришлось к концу», «Изнывая, ждешь за кочкой, Скоро ль мина влепит в зад», «Так пошла ты прочь, Косая» и др. В главе «Смерть и воин» и Человек, и Смерть написаны с большой буквы: в диалоге тут не только Василий Теркин и его «личная» смерть, а метафизические величины, уровень философского поединка жизни и смерти. Об этом в поэме есть иные слова и строки, исполненные величия и печали, неутешного горя и страданий, боли и слез. Твардовский произносит их не без оглядки, боясь лишней раз поранить и без того израненное солдатское сердце. И все же произносит, потому что за ними правда войны, следовать которой он положил себе за правило. Приведем лишь самые показательные: «Люди теплые, живые, Шли на дно, на дно, на дно», «Спят бойцы. Свое сказали. И уже навек правы», «И забыто — не забыто, Да не время вспоминать, Где и кто лежит убитый И кому еще лежать», «Ветер злой навстречу пышет, Жизнь, как веточку, колышет, Каждый день и час грозят», «Там печаль свою великую, Что без края и конца, Над тобой, над речкой выплакать, Может, выйдет мать бойца», «Смертью праведной и честной Пали многие из них», «И в одной бессмертной книге Будут все навек равны...», «Сколько их на свете нету, Что прочли тебя, поэт». Как-то не замечалось, что именно «павшим памяти священной» посвятил свой любимый труд Твардовский, а не Верховному, и не маршалам.

В противовес смерти выдвигается единственное, что ее может осилить — не поддающийся ей воин, русский труженик-солдат, который не только прогонит Косую, но и покончит с войной, спасет от врага Родину, Россию. У солдата и народа есть священное задание, которое они непременно должны выполнить: «Жизнь от смерти отстоять». Это задание продиктовано несокрушимым убеждением: «Как ни велика война — эта жизнь больше ее» [11, 306].

Первые главы поэмы написаны щадяще, Твардовский пытается говорить о страшном как можно мягче, иносказательно, вытесняя черные мысли о наших поражениях балагурством, шутками-прибаутками, но при этом не скрывая своих намерений следовать правде, какой бы горькой она ни была: «Это присказка покуда, Сказка будет впереди» [9, 167].

С особым постоянством эта деликатность, это стремление всю тяжесть впечатлений от первых месяцев войны оставить в себе проступает в письмах жене Марии Илларионовне. Семейный союз удваивал его духовные силы, благодаря непрерывному диалогу с ней могли полноценно воплотиться за-

мысли многих его стихотворений и поэм. Сто тридцать девять писем и телеграмм с войны, по словам их дочерей, «могут быть прочитаны как повесть о жизни семьи, разделенной войной», как самоотчет поэта о работе писателя на фронте и как творческая история великой, уникальной поэмы «Василий Теркин», подробностей создания которой «нет ни в одном исследовании». В письмах Твардовский, чтобы не ранить родную душу, преднамеренно скрадывает, приглашает грозное, страшное шествие врага на восток по нашей земле, внушает веру в нашу непреложную победу. Но при этом правду, как она ни тяжела, проговаривает: «Здесь всё совсем по-другому. Это не Финляндия». Но что бы там ни было, пишет он, «не унывай, раздумывая о нашем отходе. Он будет, может быть, даже бóльшим, чем ты представляешь, но это путь к победе. Родине нашей случилось и без Москвы оставаться на время, а не то что» [13, 35]. Как это напоминает знаменитую политбеседу Теркина!

Не унывай.

Не зарвемся, так прорвемся,

Будем живы — не помрем.

Срок придет, назад вернемся,

Что отдали — все вернем [9, 169].

И в поэме он не сразу оглушает нас «смертным боем», картинами массовой гибели, тягостного и постыдного отступления, а говорит о воде и пище, о махорке и шутке, о поваре и ночлеге, словно отводя от пропасти, однако вскоре погружает в «сказку», в громокипящий котел войны, в ненасытную прорву смерти. Можно сказать, ближайшим визави солдата всегда оказывается смерть, она ни на минуту не оставляет его без прицела. Чаша весов его судьбы постоянно колеблется, знаменуя онтологическое равновесие жизни и смерти в бытии людей. Нередко беря верх, смерть нарушает привычные связи и отношения, напоминая об утрате базовых ценностей исторического существования. У смерти на войне отнюдь не окопное измерение, она так же всеобща и многозначна, как и далеко от линии фронта. На войне ей противостоит энергия и воля человека, его готовность и умение победить в схватке с ней. Порой человек у Твардовского оказывается на переходе от жизни к смерти и обратно. Еще живой, бегущий в атаку молодцеватый лейтенант, сраженный пулей, крикнул бойцам: «Я не ранен. Я убит». А Теркин, по всем признакам покойник, дважды оживает в поэме.

Более 200 раз (208) в тех или иных вариациях прозвучала на страницах «Книги про бойца» смерть. И это во фронтовой газете, на войне, при жесточайшей цензуре, когда само слово «смерть», как и «отступление», было под запретом, когда в несколько раз занижались наши потери. С беспощадной жадностью поглощает смерть наших бойцов, «живых и теплых», в главах «Переправа», «Дед и баба» (по 9 словоупотреблений), «Бой в болоте» (17), «Кто стрелял?» (19). И с запредельной частотностью прозвучала она

в главе «Смерть и воин» (54 словоупотребления), которая даже в редакции «Красноармейской правды», по словам поэта, «вызвала злоеущий шум и толки» неприятия. Здесь из невидимой губящей силы она превращается в inferнальное живое существо со своим именем и обликом, со своим лексиконом и повадками, даже со своей концепцией человеческого существования: концепцией бездействия, распада, непротивления злу, поражения.

В годы войны, когда в мире правило «зло несытое», порой казалось, что лучше умереть, чем жить. В поэтическом дискурсе Твардовского формируются оксюморонные формулы, которые схватывают этот трагический парадокс бытия: «живая смерть», «жизни даст», «у смерти под защитой», «жив остался — не горюй», «в горький, грустный праздник свой», «сам не знает: жив, убит?», «печальный и протяжный стон: «Ура-а...», «рай с передним краем — это смежные места», «немец жить велел живым», «жить живи, дышать не смей», «все же вроде как жива», «со страдальчески-счастливым, от жары открытым ртом» и т.п. Даже веселый сельский праздник сабантуй обрачивается артобстрелом и бомбежкой, а майский жук — вражеским бомбардировщиком.

Смерть в XX веке обрела такой размах и такую силу, что осмелилась заявить о своем превосходстве над жизнью. Она действует уже не только физически (оружие, эпидемии), но и убеждением, прикидывается избавительницей от земных неурядиц и бед, сулит облегчение от тягот повседневного существования. В ее лексиконе и ласка, и похвала, и угроза, она находит такие аргументы, против которых трудно возразить. Однако на все ее увещеванья сдать Теркин отвечает по-солдатски прямо и однозначно:

Так пошла ты прочь, Косая,

Я солдат еще живой.

Буду плакать, выть от боли,

Гибнуть в поле без следа,

Но тебе по доброй воле

Я не сдамся никогда [9, 275—276].

Один из главных уроков поэмы: за жизнь надо сражаться. И не только с врагом, несущим смерть, но и с самим собой, со своими слабостями и соблазнами. На войне любой путь спасения, кроме мужества, героизма и самопожертвования, может оказаться предательством. Физическая смерть героя обретает компенсацию в его духовном и нравственном обаянии, в народной памяти о нем. Память у Твардовского — как бы вторая жизнь, она многослойна и действенна, она уходит в глубины истории, в далекую череду поколений и равносильна бессмертию.

Твардовский начинает «Книгу про бойца» размышлениями о воде, пище, шутке и правде. Почему? В них опора жизни — физической и духовной. Правда, какой бы она ни была, в конце концов подтверждает солдатский подвиг, а без этого он не может вписаться в историю. Вода, как один из важнейших

пособников жизни, в поэме необычайно многозначна. Это и спасительный глоток влаги, и неодолимый водный рубеж, и победная переправа, и темная прорва смерти. А в финале поэмы она омывает солдата от грязи, пота и копоты войны, являя нам человека во всей его природной телесности, со всеми отметинами отгремевших сражений. В заключительной главе «От автора» спасительная влага обращается в поминальную чарку по миллионам павших, которую мы пьем и поныне.

Апология всего живого означает у Твардовского, что на жизнь нельзя посягать. Для него это высшая ценность, вне забот о которой любые замыслы несостоятельны. Наша советская история — подчас бесцеремонное и жестокое посягательство на человеческую и природную жизнь. Насилие стало орудием большевистского государства. Забыто было о милости к побежденному народу, критики избивали Твардовского в 30-е годы не только за «симпатии» к кулакам, но и за то, что он считал их обычными людьми. А он ценил все, что работало на жизнь, на поддержание человека. Однако не всякую жизнь славил он, а только добрую, отзывчивую, радующую, жизнь не только для себя, но и для других. Превыше всего для поэта животворящая природа, жизнепопечительная озабоченность человека, благодаря чему победа смерти временна, не абсолютна, над ней берут верх таинственные силы жизни — наш общий на земле ходатай. В «Доме у дороги» новая жизнь зарождается в невыносимых для жизни условиях концлагеря. Родившийся там ребенок на какой-то момент оказывается даже сильнее матери, вернее, благодаря ему она становится увереннее в поединке с небытием, вкладывая в уста ребенка свои же клятвенные слова спасти его, не дать погаснуть на ветру войны этому маленькому огоньку жизни.

И так, порой полумертвы,  
У смерти на примете,  
Все ж дотянули до травы  
Живые мать и дети [9, 376].

Глава восьмая «Дома у дороги» — один из самых мощных голосов XX века во славу жизни: и голос матери, дающей жизнь, и голос ребенка — самой этой жизни. Переключка с главою «Смерть и воин» здесь очевидна: Анна Сивцова и Василий Теркин побеждают «ради жизни на земле».

Во все периоды творчества слово «смерть» у Твардовского едва ли не самое «напоминательное». Помнить о смерти всегда означало: достойной ли была твоя жизнь? с чем ты придешь к финишу? Концептуальные грани смерти в его поэзии проступают отчетливо. Это конец земной, физической, телесной жизни. Разлучение души с телом. Переход к жизни вечной, духовной. Обретение памяти в остающихся жить. Смерть — неизбежный и закономерный финал всего живущего и цветущего, финал, дающий начало другой жизни. К такой смерти Твардовский

толерантен, хотя она всегда не ко времени. Но если смерть предумышленна и насильственна, если она намеревается подавить, запугать человека, он готов послать ее куда подальше, не стесняясь в выражениях («Ты дура, смерть» и т.п.). Законную смерть он готов встретить достойно, без панической суеты и обиды на всех остающихся жить.

По крайности — спасибо и на том,  
Что от хлопот любимых нет отвычки.  
Справляй дела и тем же чередом  
Без паники укладывая вещи [18, 194].

Наступление наших войск действовало на Твардовского вдохновляюще, многие строфы третьей части поэмы дышат запредельным восторгом, голос его берет такие высокие ноты, от которых перехватывает дыхание.

И теперь взглянуть на запад  
От столицы. Край родной!  
Не на шутку был он заперт  
За железною стеной.  
И до малого селенья  
Та из плена сторона  
Не по щучьему веленью  
Вновь сполна возвращена  
По веленью нашей силы,  
Русской, собственной своей.  
Ну-ка, где она, Россия,  
У каких гремит дверей! [9, 308].

Наступление подвигает его писать третью часть поэмы, он осознает, что «Теркин без наступления» вызывает чувство незавершенности у читателей, отсюда их просьбы продолжить поэму. И вдруг появляется странная запись в Рабочей тетради о том, что сейчас для успеха требуется нечто противоположное «Теркину». Что же? «Сейчас нужен герой — офицер, желательно дворянского, по крайней мере интеллигентного происхождения, в виде отклонения от нормы (что будет одновременно и допустимой смелостью) — религиозный, свято уважающий традиции военной семьи и т.п. Солдат сейчас не в моде. Он должен занять подобающее ему место. Это все трудно объяснить, но это все так примерно и еще хуже, и об этом не хочется» [13, 189].

Но пришлось, потому что очень уж сильный поворот наметился в отношении к народу-солдату, почувствовавшему себя хозяином на войне. Надо было поставить его на «подобное ему место». В главе «Дед и баба» Твардовский проверяет, как воспримут в народе такой дворянско-офицерский поворот. Наступающий Теркин вызывает деда с бабой из погребушки, куда они спрятались от врага.

– Значит, цел, орел, покуда.  
– Ну, отец, не только цел:  
Отступал солдат отсюда,  
А теперь, гляди, кто буду,—  
Вроде даже офицер.  
– Офицер? Так-так. Понятно,—

Дед кивает головой.—  
Ну, а если... на попятный,  
То опять как рядовой?.. [9, 298]

Теркин заверяет деда, что теперь уже «ни в большом, ни в малом чине На попятный ходу нет» [9, 298]. Однако старик не унимается, потому что насмотрелся всего и при наших, и при немцах.

Как получше,  
На какой тепер манер:  
Господин, сказать, поручик  
Иль товарищ, офицер? [9, 299]

Это не проходной эпизод в сюжете поэмы, а принципиально важный итог раздумий Твардовского о роли русского Ивана в войне, над которой он стал размышлять еще в снегах Финляндии: «Ощущение великой трудности войны» [5, 156]; «Сжималось сердце при виде своих убитых» [5, 167]; «Меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов... Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца. Правда, все реже» [5, 155]. В годы войны Отечественной это чувство обострилось до крайности: «Мы живем по обочинам войны»; «Нет-нет и защемиет стыд перед теми, с кем вижусь от времени до времени и покидаю их, спеша заключить в строчки полученное от них...»; «О чем бы я ни думал, я вновь возвращаюсь к мысли о нем, об Иване, на плечи которого свалилась вся страшная тяжесть этой войны...» [13, 48]. Подставить свое плечо — вот на что решался Твардовский. Работа во фронтовой газете казалась ему малополезной: «Мы хекаем, а люди рубят» [13, 277]. Будучи сам офицером, он все эти мысли обращал на самого себя, хотя и понимал, что преобразиться в солдата ему не удастся.

Почему он так долго не решался продолжать «Теркина», т.е. писать третью часть? Возникает и такой мотив, с которым стоит считаться: «Вряд ли, кажется сейчас, можно будет ввести Теркина в этот период (наступления. — В. А.) и дать ему развернуться. Он родился в иной срок... И, конечно, он не офицер. “Книга про бойца”. А строчка “наступает офицер” должна чуть быть повернута: как бы, вроде, чуть не...» [13, 279]. В главе «Дед и баба», как мы видели, прозвучала одна из этих оговорок: «вроде даже офицер»: по роли, а не на самом деле.

В приведенной выше записи от 29 июля 1944 года прозвучало «Книга про бойца». Но это же подзаголовок поэмы «Василий Теркин», который снимает всякие утверждения об офицерстве главного героя. И появился он в «Красноармейской правде» только через полгода, 29 января 1945-го, победного, перед главой «Про солдата-сироту». Какое уж тут офицерство...

Во второй половине войны власть и официальная критика с каким-то подозрением стали воспринимать «Василия Теркина». Скорее всего из-за его беспартийности и последовательной народности, не

терпящей неправды и угодливости. «Во второй половине 1944 года, — пишет В. Кузнецhevский, — Сталину стал нужен патриотизм не русский, а советский» [19, 4]. Но как раз за недостаточность советского в Теркине и укоряли Твардовского, он ведь прежде всего «русский чудо-человек»!

Твардовский смело передает его черты почти всем героям поэмы, поэтому Теркину вовсе не обязательно становиться действующим лицом каждой главы и лично появляться перед читателем: достаточно указать на его имя: «Это был, понятно, он» [9, 230], «Это был, конечно, он» [9, 271], «Объявился старый друг» [9, 292], «По уставу каждой роте / Будет придан Теркин свой» [9, 287], «Мол, снабдил Василий Теркин» [9, 318], «Все равно, что Теркин» [9, 326]. Все в нем и он в каждом — вот что подтверждают эти пояснения. Отсутствие Теркина в тексте компенсируется наличием его духа и языка, они-то и дорисовывают его портрет, оживляют его. Надо учесть тут и авторский комментарий: «Для многих Теркин нечто, бывшее, звучавшее когда-то в первой половине войны, лишь для меня это еще незаконченная работа» [13, 373—374]. Возвращаясь в родную часть после ранения или отдыха «в раю», Теркин попадает в «сборный, смешанный народ», многих не узнает, слышит незнакомые шутки-прибаутки и даже встречает другого Теркина, то есть совсем на него не похожего: самоуверенного, бахвалистого, что также осложняло осмысление наступательного периода Отечественной войны. Настоящий Теркин, как и его земляк солдат-сирота, плачут от горя и великих потерь, им трудно сполна отдаться победительному ликованию.

В набросках к заключительной главе «От автора» (22.VII. 44), как и позднее в главе «Про солдата-сироту», Твардовский не без иронии говорит, что Теркин больше был в моде и почете при отступлении, когда сдавали города.

В отступленьи генералы  
Как-то были все не в счет [13, 293].

А теперь:  
Срок иной, иные даты.  
Над Москвой гремит салют.  
Города сдают солдаты,  
Генералы их берут [13, 293].

Солдатам остается то, что и было всегда — тяжелый и жертвенный труд войны.

И ползешь ты где-то, Теркин,  
Под огнем лежишь ничком  
В старомодной гимнастерке  
С отложным воротничком [13, 293].

Трещина между солдатами и генералами, обнаруженная в конце войны, мучает Твардовского, он не хотел бы об этом говорить, потому что, по его же словам, генералы в большинстве своем — Теркины. И только по принятой заповеди до конца говорить правду он напишет (пусть только для себя):

Теркин, Теркин, век военный,  
Поразмысли, рассуди,  
И по службе непременно  
В генералы выходи.  
Хорошо ходить в лампасах,  
Красота, а станешь стар —  
За тобой мундир запаса  
И земли тебе гектар  
(Не то, но что-то такое).

.....

Нынче речи о Берлине,  
А тебя и нет в помине [13, 293].

Это ведь тоже сталинский принцип задобрить выдвинувшихся высокими окладами, дачами, машинами и прочими подачками, о чем поэт, конечно же, знал. А дальше шло о солдате, пришедшем с войны с пустым рукавом, который «вспомнит где-нибудь в пивнушке» автора и героя поэмы.

Строчки вслух переиначит,  
Переверт и оборвет.  
И над кружкой заплачет  
И медаль, гляди, пропьёт [13, 294].

Конечно, это не для печати, и Твардовский тут же делает существенную, но не простую оговорку: «Очень черно, но близко к делу. Моя точка зрения не должна быть этой, но и этой, и другой. Так же и о генералах, которые в большинстве Теркины» [13, 294]. И все же поэма эта — «Книга про бойца», про солдата-сироту, книга о народе, одолевшем страшного врага ради жизни на земле. Как только был найден подзаголовок к «Василию Теркину», офицерство героя отпало по логике вещей. Твардовский тем самым подтвердил принцип народности, которому он изначально следовал. Он не мог не замечать социального расслоения в обществе, так и не преодоленной пропасти между властью и народом. На войне это проявилось прежде всего в забвении принципа народосбережения. Еще на Карельском фронте его поразило, как безумно гнали необстрелянных солдат под пулеметы на колючую проволоку и как они сотнями гибли там. «Суворовых не оказалось, — говорил он А. Беку. — Войну решили Иваны» [20; 133, 134]. Решили они и Великую Отечественную, положив миллионы жизней на алтарь Победы.

Война потребовала широкой, масштабной мысли и глубокой, сочувствующей души. Подходить к ней только с узкополитическими заданиями — значит обрекать себя на творческое поражение. Твардовский всем существом отдается происходящему. В Рабочих тетрадях запечатлена не только панорама войны, «дни беды и дни побед», но и перспективы ее осмысления, наметки того, что подхватила послевоенная литература и публицистика вплоть до наших дней. Твардовскому важно было «сомкнуть оба пола времени» — начальный и заключительный этапы войны — в нечто целое как переплетение причин и следствий, объясняющих друг друга. Особенно

трудным и сложным оказался для него этап заключительный, когда со всей очевидностью проступили и радужные, и темные лики победного шествия наших войск, и великая Победа, и великая трагедия народа, когда душу переполняли и разрывали звуки ликующего гимна и горькие мелодии реквиема («Про солдата-сироту», «По дороге на Берлин» и др.).

О неизбежности поражения врага и возмездия за все его злодеяния на нашей земле Твардовский говорил все годы войны, но впечатления от картин разгрома вражеского логова оказались столь же контрастными и болезненными, как и наши поражения начального этапа войны. Неостановимое штурмовое шествие Красной Армии по Европе было воодушевляющим и радостным, но не менее жертвенным, чем при отступлении. Наши солдаты несли на своих штыках глаголы ненависти и отмщения, а в стихах Твардовского колокольню звучали такие слова, как возмездие, расплата, священная месть, судный час, праведный суд, святое пламя отмщенья, час исполненья гнева, идем с расплатой, казнь права, «плати по счетам, Германия», «Мы справим суд свой до конца, А после будет видно» и др. Заметим, как настойчиво, как подчеркивающе звучат тут «священный», «праведный», «святой», «правый» рядом со словами «суд» и «расплата». Таким же святым и правым назван у него смертный, кровавый, страшный бой «ради жизни на земле». Тут сошлись концы и начала, проступила логика главного события XX века — мировой войны, посягнувшей на жизнь целого народа: она не избежала суда.

Но как неожиданно, как изумительно завершает свои Рабочие тетради Твардовский! На последних страницах — три записи от 1-го и 3-го мая 1945 года, три локальные и одновременно символически-обобщенные картины на фоне поверженной Германии. Первая картина (прозой и стихами) — о скворце, хлопчущем «в садике горелом» по своим весенним делам, зная не знающем ничего о том, что творится в мире. Главное для него — устроить свой дом, свою квартиру для будущей семьи, потому что «война войной, а плодиться надо». Теми же заботами занят скворец и где-нибудь под Москвой, поющий о том, «что теперь устроить дом — Вот что, дескать, главное».

Вторая картина так же локальна, но и она развернута на широкое мировое пространство: «Зеленеющая Германия, где пахнут и сеют те, что недавно пришли сюда и вряд ли останутся еще на год (солдаты), либо те, что были здесь пленниками и не хотели оставаться здесь ни одного лишнего часа, либо те, что должны были защитить эту землю, откуда они ходили по всей Европе, а сейчас в плену на ней» [20, 381]. Редко у кого найдем мы такую исторически значимую картину: весеннее поле объединило бывших врагов, победителей и побежденных, общим делом, пахотой и севом ради будущего урожая, «ради жизни на земле». А третья картина — Побе-



да и Салют. «Стреляло все, что могло как-то стрелять в городе, начиненном фронтовыми и прочими учреждениями... Охрана поезда начала из автоматов, не выдержали и все, в том числе я, стали разряжать не чищенные по году пистолеты в воздух. Необыкновенное, самозародившееся и незабываемое» [13, 381].

Этот салют можно отнести, наверно, и скворцам, устраивающим гнезда для нового поколения, и солдатам, пашущим и засевающим землю зерном будущему, и автору, победно завершившему «свою атаку»...

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Твардовский А. Новомировский дневник / А. Твардовский. — М., 2009. — Т. 1. 1961—1966.
2. Роговин В. З. Проблема гуманизма / В. З. Роговин // Из истории советского искусствоведения и эстетической мысли 1930-х годов. — М., 1977.
3. Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи / Н. Коржавин // Новый мир. — 1992. — № 8.
4. Платонов А. Размышления читателя: ст. / А. Платонов. — М., 1970.
5. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1978. — Т. 4.
6. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1983. — Т. 6.
7. Буртин Ю. Примечания / Ю. Буртин // Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. — М., 1977. — Т. 2.
8. Твардовский А. Письма с войны. 1941—1945 / А. Твардовский. — М., 2015.
9. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1977. — Т. 2.
10. Миркина А. Навечно в памяти / А. Миркина // Литературная газета. — 1986. — 3 дек. — № 49.
11. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1980. — Т. 5.
12. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1976. — Т. 1.
13. Твардовский А. «Я в свою ходил атаку...»: Дневники. Письма. 1941—1945 / А. Твардовский. — М., 2005.
14. Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов / А. Т. Твардовский // Знамя. — 2004. — № 5.
15. Твардовский А. От автора / А. Твардовский // Красноармейская правда. — 1942. — 12 дек. — № 343.
16. Азаренко Д. Добейте антихристов! / Д. Азаренко // Красноармейская правда. — 1944. — 2 июля. — № 157.
17. Арамилев И. У могил расстрелянных / И. Арамилев // Красноармейская правда. — 1944. — 21 июля. — № 173.
18. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1978. — Т. 3.
19. Кузнецhevский В. Дело русской партии. Новый взгляд на политическое наследие Андрея Жданова / В. Кузнецhevский // Литературная газета. — 2016. — 5—11 окт. — № 39.
20. Бек А. Встречи с Твардовским в 1940 году: Дневниковые записи / А. Бек // Знамя. — 2001. — № 10.

*Воронежский государственный университет*

*Акаткин В. М., доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы XX и XXI веков, теории литературы и фольклора*

*Voronezh state University*

*Akatkin V. M., Doctor of Philology, Professor of Russian literature of XX and XXI Centuries Department, Literature and Folklore Theory*